

МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ БИОГРАФИИ Н. А. ДОБРОЛЮБОВА

I

ПЕРЕПИСКА Н. А. ДОБРОЛЮБОВА С ОТЦОМ И МАТЕРЬЮ

Вступительные сведения. — Обзор содержания переписки; извлечения из нее.

Сохранением писем Николая Александровича Добролюбова к отцу, матери и другим родным русская литература обязана сестрам его: Антонине Александровне Костровой, Анне Александровне Рождественской и Катерине Александровне Стекловой, мужу Антонины Александровны (ныне покойному) Михаилу Алексеевичу Кострову и двоюродному брату Николая Александровича (ныне также покойному) Михаилу Ивановичу Благообразову. Те письма, которые получал от Николая Александровича дядя его (ныне также покойный) Василий Иванович Добролюбов до переезда своего в Петербург, утратились; но сохранились те, которые получал он в Петербурге от племянника из-за границы.

Николай Александрович был старший сын священника нижегородской Никольской церкви Александра Ивановича и супруги его Зинаиды Васильевны Добролюбовых.

Иларион Галактионович Короленко (брат писателя Владимира Галактионовича), живущий ныне в Нижнем-Новгороде и принявший на себя труд участия в пополнении материалов для биографии Николая Александровича, собранных в первое время по его смерти одним из его знакомых и сбереженных заботливою любовью А. Н. Пыпина и М. А. Антоновича, списал копию с послужного списка Александра Ивановича¹. Важнейшие из сведений, представляемых этим списком, следующие:

Александр Иванович был сын диакона одного из сельских приходов нижегородской епархии, кончил курс в нижегородской семинарии по первому разряду и был определен учителем высшего отделения нижегородского духовного уездного училища в 1832 году,

рукоположен в иерейский сан 20 сентября 1834 года и определен священником в нижегородскую Никольскую церковь; начиная с 1835 года, исполнял разные поручения епархиального начальства; за успешное исполнение их получал выражения благодарности; 3 марта 1841 года был определен законоучителем в нижегородское училище детей канцелярских служителей; 22 июня 1843 года был назначен членом духовной консистории, с увольнением от должности учителя; «за весьма усердное старание и деятельное смотрение за построением при его приходской церкви» двух трехэтажных каменных флигелей объявлена была ему 25 сентября 1844 года от епархиального начальства «полная признательность и благодарность»; в 1850 году был он награжден камилавкою.

Средства на постройку флигелей при церкви были собраны его просьбами у прихожан.

В воспоминаниях, составлением которых занимается теперь Антонина Александровна, она говорит:

Александр Иванович был на хорошем счету у преосвященного (Иеремии); уважая его, как дельного, умного человека, Иеремия предложил ему перейти на место протоиерея в город Семенов; но Александр Иванович не мог согласиться на предложение, так как его удерживали запутанные дела по дому, постройка которого вынудила его произвести несколько займов. Прихожане, любившие Александра Ивановича, упросили Иеремию оставить им его. Но раз воля преосвященного встретила себе отпор, то по своему характеру он не мог не испытывать неудовольствия против Александра Ивановича, которого и после отказа старался склонить на согласие. Поэтому Александр Иванович был всегда настороже и опасался, что Иеремия вынудит все-таки его согласие своею властью.

Из переписки, которую по смерти Александра Ивановича вел с Николаем Александровичем Борис Ефимович Прутченко, занимавший тогда должность председателя нижегородской казенной палаты, видно, что Иеремия, желая отомстить Александру Ивановичу за несогласие с его волей, хотел уменьшить его доход от священнической должности. Никольская церковь имела одного священника, потому что приход ее был недостаточно велик для того, чтобы могли иметь от него средства к жизни два священника; но Иеремия, чтобы сделать вред Александру Ивановичу, решил назначить к ней второго священника; таким образом, доход, который получал Александр Иванович, разделили бы пополам между ним и его товарищем. Но прихожане своим протестом заставили Иеремию отказаться от этого намерения.

Доход Александра Ивановича от священнической должности составлял, вероятно, около 500 руб. Так должно думать потому, что Василий Иванович определяет приблизительно в 200 рублей долю его, несколько меньшую половины.

Свой дом Александр Иванович строил в долг. Когда он умер, доход с дома все еще поглощался срочными уплатами по долгам. Это видно по подробным отчетам, находящимся в письмах Василия Ивановича к Николаю Александровичу.

Сумма долгов, лежавших на доме во время смерти Александра Ивановича, составляла 2854 р. 43 к.

Дом был каменный, двухэтажный, на фундаменте, с подвалами, часть которых имела отделку жилых комнат. При доме находился деревянный флигель.

В годы, предшествовавшие смерти Александра Ивановича, в доме жил князь В. А. Трубецкой, занимавший тогда должность управляющего нижегородскою удельною канторой. В флигеле жили сами Александр Иванович и Зинаида Васильевна.

Дом и флигель были застрахованы в 9000 р.

О действительной стоимости дома Антонина Александровна в своих воспоминаниях говорит:

Дом отца, как слышала я от него, по постройке обошелся ему более 42—43 тысяч на ассигнации, то есть тысяч 12 с лишком серебром. Дом продан, лет 15—16 тому назад, за 14 тыс. р. сер. не отремонтированным.

Переходя от ответов на вопросы о материальном положении детей Александра Ивановича по его смерти к ответам на вопросы о качествах здоровья и о характере его и Зинаиды Васильевны, Антонина Александровна говорит:

Александр Иванович был крепкого телосложения, среднего роста, довольно полный; но в последнее время заботы по дому, столкновения с Иеремией, опасения преследования оказали на него свое влияние; а потеря жены, о которой он очень горевал и без слез не мог говорить, значительно подорвала его здоровье. Он крепился, попрежнему исполнял все свои обязанности и не падал духом, хотя заметно худел и ослабевал физически.

Так как по смерти отца я осталась девочкою по четырнадцатому году, то мне довольно трудно с уверенностью судить о характере Александра Ивановича; но по отношениям его с Иеремиею, которому не удалось настоять на переводе отца, по тому, как он переносил потерю жены, почти не проявляя своего горя внешним образом ни в раздражении, ни в упадке деятельности и духовных сил, можно думать, что он обладал сильным характером и способностью владеть собою во время тяжелых событий жизни.

Он был предприимчив и очень деятелен, что доказывается его постройками собственного дома при небольших средствах, церковных домов и украшениями и улучшениями, произведенными в церкви. Весь день он был постоянно занят службой в церкви, требами, церковными, консисторскими и собственными делами, которые заставляли его засиживаться за 12 часов ночи.

В приходе его любили, так как он был ласков со всеми, добр, ровен в обращении, сдержан даже в минуты досады, исполнительен и являлся всюду с готовностью по первому призыву.

Мать Николая Александровича, Зинаида Васильевна, дочь протонеря Никольской церкви, Василия Федоровича Покровского, на место которого поступил Александр Иванович, была также крепкого сложения, довольно высокая и видная женщина.

Все ее болезни: ревматизм, зубная боль и другие, были приобретены уже впоследствии.

Она была также очень деятельна и неутомима. Имея большую семью, она содержала в большой чистоте и порядке как весь дом, так и детей, которых также приучала к труду, чистоте и порядку. Всех детей она кормила сама, сама вела все хозяйство и работала на всю семью. Первоначальным обучением всех детей она занималась также сама.

Насколько образцовою матерью и хозяйкой была она, можно судить по тому, что, оставшись после нее тринадцати лет, я знала все домашние женские работы и вполне умела вести хозяйство.

Беспрестанная и неутомимая деятельность и заботы подорвали, наконец, ее здоровье, а на 38-м году жизни она умерла от простуды после родов, 8 марта 1854 года.

По смерти жены Александр Иванович предполагал пригласить на житье к себе свою мать, Марью Федоровну (жившую по смерти мужа с своими дочерьми на родине, верст за 200 от Нижнего), и написал об этом как ей, так и Николаю Александровичу. Но известие от сына о смерти жены так повлияло на Марью Федоровну, что с нею произошел удар, и она не в состоянии была переехать к сыну. Хозяйка осталась я.

Александр Иванович умер от холеры; болезнь его продолжалась 10—12 часов. Еще накануне смерти, 5 августа, служил он всенощную; а на другой день, в 10 часов утра, он уже скончался, в конце 42 года своей жизни.

Обремененный делами, Александр Иванович не имел времени быть учителем сына. Потому, когда мать научила мальчика, чему могла, отец пригласил давать уроки ему воспитанника семинарии Михаила Алексеевича Кострова. Ученик сильно полюбил учителя и навсегда сохранил любовь к нему. Михаил Алексеевич сделался ближайшим другом Александра Ивановича и Зинаиды Васильевны. Когда Антонина Александровна достигла возраста вступления в брак, Михаил Алексеевич женился на ней.

В своих воспоминаниях Антонина Александровна, отвечая на вопросы о ее покойном муже, говорит:

Семинаристом он жил на квартире в доме Фавсты Васильевны (старшей сестры Зинаиды Васильевны), и Александр Иванович, зная его, как хорошего воспитанника семинарии, не имеющего средств, и сочувствуя его бедности, доставил ему урок у себя, которым Михаил Алексеевич и содержал себя во время своего учения в семинарии.

По окончании семинарского курса, в 1848 году, Михаил Алексеевич был, как отличный ученик, послан в московскую духовную академию. Кончив курс в академии, он возвратился в Нижний и получил должность инспектора нижегородского духовного училища.

По смерти Александра Ивановича место его было, как это тогда называлось, зачислено за Антониной Александровной, то есть было оставлено вакантным до ее замужества, с тем, что будет тогда отдано человеку, за которого она выйдет, если он будет достойным иерейского сана. Женившись на Антонине Александровне, Михаил Алексеевич получил это место.

Он оставался священником при Никольской церкви до самой своей смерти. Он скончался 19 июня 1886 года.

Михаил Алексеевич, в своих воспоминаниях о Николае Александровиче, говорит:

Когда ему стало восемь лет с половиной, то приглашен был в учителя к нему я. Наше учение продолжалось около трех лет. Тогда — он был представлен в Духовное училище, из которого через год — был переведен — в семинарию. В семинарии он учился пять лет и шел все первым.

В семинарию он был переведен в 1848 году, в 1852 году перешел в богословский класс. Курсы в классах семинарий (и духовных академий) были в те времена двухлетние. Николай Александрович должен был кончить семинарский курс в 1854 году и тогда был бы, как отличный ученик, отправлен на казенный счет в московскую или казанскую духовную академию, курсы которых начинались, как и в нижегородской семинарии, по четным годам. Но ему хотелось ехать не в духовную академию, а в университет. Он еще до перехода в богословский класс стал готовиться к университетскому экзамену, усиленно занимаясь дома теми предметами, которые в семинарии были преподаваемы в объеме меньшем требуемого для принятия в университет. Увидев, что может выдержать университетский экзамен, он стал говорить отцу о своем желании ехать в университет. Оно оказалось неудобноисполнимо. Михаил Алексеевич говорит об этом так:

Семинарское образование не могло удовлетворить его, как он нередко говорил и мне об этом; не надеялся он удовлетвориться и в духовной академии, а непременно желал ехать в какой-нибудь университет. Отец его не прочь был и сам отпустить его туда; но затруднительное положение кошелька (ибо он был кругом в долгу по выстройке дома своего) было причиной, что решено было отправить его в петербургскую духовную академию.

Невозможность уделять из священнического дохода столько денег на содержание сына в университете, сколько было бы, по мнению отца, необходимо ему там, происходила оттого, что Александр Иванович и Зинаида Васильевна имели тогда, кроме старшего сына, шестеро детей.

В петербургской академии курсы начинались по нечетным годам. К приемному экзамену допускались и пробывшие только один год в богословском классе воспитанники тех семинарий, курсы которых шли по четным годам. Остаться в семинарии было невыносимо скучно для Николая Александровича. Потому-то он и просил отца отпустить его в петербургскую академию. Это было выигрышем года времени сравнительно с поступлением в казанскую или московскую академию.

Но для того, чтобы воспитанник семинарии, не кончивший курса, а пробывший только год в богословском классе и не отправляемый семинарским начальством по так называемому «вызову из академии», а отправляющийся только по своему собственному желанию, мог быть допущен к приемному экзамену в академии, нужно было разрешение св. синода. А для того, чтобы оно было дано, надобно было ходатайство епархиального преосвященного о нем. В том, чтобы архиерей согласился ходатайствовать перед св. синодом, и состояла вся сущность дела; разрешение св. синода было только формальностью: на подобные ходатайства епархиальных архиереев не бывало отказов.

Ходатайство преосвященного было отправлено в св. синод

13 марта 1853 года, а Николай Александрович 15 марта писал в своем дневнике:

Свершились желания. Давно задуманное и жданное исполнено.

Мне непременно хотелось поступить в университет. Папенька не хотел этого, потому что при его средствах это было невозможно. Но он не говорил мне этого и представлял только невыгоды университетского воспитания и превосходство академического. Тогда этого рода доказательствами меня невозможно было убедить: я был непоколебимо уверен, что если могу где-нибудь учиться в высшем заведении, то это только в университете. Но между тем, я видел ясно, что для моего отца действительно очень трудно, почти невозможно было содержать меня в университете. Конечно, будь я порешительнее, я бы объявил, что хочу этого и что проживу там хоть на 50 целковых в год, только бы учиться в университете. Но я не хотел и не мог этого; решительного объяснения не было, а во мне кровь кипела, воображение работало, рассудок едва сдерживал порывы страсти. — —

Жутко было мне тогда. Но, наконец, папенька сказал, что мое желание выполнить невозможно, что тысячу рублей ассигнациями в год он мне разделить не может, а меньше нельзя. Больше он ничего слышать не хотел, как ни уверял я его, что половины этой суммы для меня слишком достаточно. И как только сказали, что нельзя, я успокоился, потому что добиваться невозможного я никогда не стараюсь. — —

Но при всем том, я не мог примириться с мыслью — остаться еще на два года в семинарии, где учение было очень незавидное.

Чтобы сократить на год потерю времени в семинарии, он вздумал отправиться в петербургскую академию.

На это дело папенька согласился легче. Не было возражений о трудности учиться, ни о возможности поступить туда; сказано было только несколько слов о моей молодости, но я представил, что молодому еще легче учиться, и дело было слажено. — —

По окончании дела мне следовало бы радоваться, а я очень равнодушен. Правду сказать, я и теперь еще не уверен в превосходстве академического образования, и мысль поступить в университет не оставляет меня. Впрочем, это по обстоятельствам. Главным образом соблазняет меня авторство, а если мне хочется в Петербург, то не по желанию видеть Северную Пальмиру, не по расчетам на превосходство столичного образования: все это на втором плане, это только средство. На первом же плане стоит удобство сообщения с журналистами и литераторами. Прежде я безотчетно увлекался этою мыслью, а теперь уж начинаю подумывать, что

«То кровь кипит, то сил избыток...»

Надежда на журналистов для меня очень плоха, потому что, не доучившись год в семинарии, я в академии должен буду заниматься очень сильно, и времени праздного у меня не будет; и, притом, я не знаю новых языков, следовательно, переводное дело уже не по моей части, а иначе как начать?... Подумаешь, подумаешь, пишешь стихотворение:

«Мучат сомнения душу тревожную...»

и потом опять какая-то апатия нападает на душу, как будто это до меня и не касается. Одна надежда на премудрый промысл поддерживает меня. С тех пор, как благодетельная уверенность в благости и неусыпной заботливости о нас божией посетила меня, мне кажется, что я даже несравненно легче снесу, если меня и прогонят назад в Нижний из академии. Этого я также имею причины опасаться, хотя и не теряю надежды сдать хоть кое-как приемный экзамен. Много теперь нужно мне трудиться, необычайная энергия требуется, чтобы поддержать себя, а, между тем, я как будто и не думаю об этом и едва-едва, потихоньку, принимаюсь готовиться.

Он «едва-едва принимался готовиться» к академическому экзамену потому, что над мыслями о надобности готовиться лежало у него в глубине души твердое сознание совершенной ненадобности в этом; при своей склонности к самоприщипыванию он знал, что готов к экзамену; он раздумывал о том, что, может быть, его «прогонят» с академического экзамена, а, между тем, знал, что выдержит его блистательно.

Приемный экзамен в петербургской академии начинался около половины августа. Николай Александрович выехал из Нижнего в начале августа (1853 г.). Он ехал в дилижансе (железной дороги из Нижнего в Москву тогда еще не было). Из Москвы он написал отцу и матери письмо. Он веселым тоном описывает свою поездку и впечатления, какие произвела на него Москва. Железная дорога из Москвы в Петербург была уже открыта. Николай Александрович ехал в вагоне 3-го класса. Первое письмо его из Петербурга к отцу и матери помечено 10-м числом августа. Описав поездку по железной дороге, он переходит к рассказу о забавном приключении, которое произошло с ним немедленно по приезде. Нанимая извозчика вести его с чемоданом в духовную академию, он почел достаточным назвать ее духовной академией; вез, вез его извозчик и привез к зданию, которое оказалось академией художеств. На слова его, что это не та академия, не духовная, извозчик отвечал, что никакой другой академии извозчики не знают. Николай Александрович объяснил ему, что духовная академия находится в Невском монастыре. И пришлось ехать обратно всю длинную проеханную дорогу.

До окончания экзамена, по выдержании которого Николай Александрович был бы принят на казенное содержание, ему должно было жить на квартире. Она была заранее приискана для него находившимися в академии нижегородцами. Случайным выбором ее был открыт Николаю Александровичу путь, вместо духовной академии, в Педагогический институт.

Вот его рассказ отцу и матери *.

Земляки еще заранее отыскиали мне комнатку недалеко от академии, за три рубля сер. в месяц без стола ——. Я предложил хозяину доставлять мне стол; говорит: «не могу» ——. Я должен был согласиться платить рубль двадцать коп. ассигнациями за каждый день за стол... Конечно, это не совсем выгодно; но мое положение теперь таково, что им всякий спекулятор может пользоваться. Теперь расскажу вам дело.

Здесь случилось со мной весьма важное и, быть может, счастливое обстоятельство. На моей квартире нашел я поселившегося в одной комнате со мною студента Педагогического института, одного из тех, которые в предшлом году поступили в институт, не выдержав экзамена в духовной академии. Наверху жило в том же доме два брата — один — кончивший курс в здешней академии, другой — студент вятской семинарии, сыновья тамошнего ректора. Младший брат приехал было держать экзамен в духовную ака-

* В извлечениях из писем Николая Александровича пропуски, делаемые нами, отмечаются, как и в других извлечениях, двумя чертами ——. Многогочия — не отметки пропусков; они принадлежат манере Николая Александровича писать.

демию, но брат не советовал ему, и он подает прошение в Педагогический институт. Вчера к студенту института пришел товарищ, живущий на даче, которую нанимают для студентов каждое лето и на которую мой соквартирец не попал только потому, что приехал из отпуска раньше срока. Этот товарищ рассказывал: «В институте, брат, слезы: на 56 вакансий явилось только 23 человека, и из числа их только 20 могли быть допущены к экзамену, потому что из трех остальных одному 38 лет, другому 14, третий какой-то отчаянный (полюумный) *». Через несколько дней был еще экзамен, явилось пять человек, и все приняты почти без экзамена». — Я сказал, что если не примут в академию, то и я бы попытался; и студенты начали такие уверения (о легкости экзаменов в институт), что мне даже не верилось. Наконец один начал советовать, чтоб я сходил на-днях в институт, поэкзаменовался там (а то можно сделать без всяких письменных документов моих) ** и потом быть спокойным. Я сказал, что не вижу причины, для чего бы решаться на такую мистификацию, и он объявил мне вот что: «Теперь они (лица, составляющие институтское начальство, директор и конференция) в отчаянии и принимают всякого, а, между тем, хлопочут по всем гимназиям и семинариям (посылая приглашения ехать в институт); например, один профессор выписал шесть человек из одной смоленской семинарии, где он сам учился... Министр объявил, что если к 1 сентября не будет полного комплекта, то он закроет заведение; а, между тем, у вас (в академии) к тому времени только кончатся экзамены. Если вас постигнет неудача, куда вы тогда денетесь? А теперь, выдержавши экзамен (в институт), вы можете быть спокойны насчет академии. Если же вас примут (в академию), то придете только к директору (института) и скажете: ваше превосходительство, я получил от родителей письмо, в котором мне ни под каким видом не советуют поступать в Педагогический институт, — и он, не имея в руках ваших документов, не может никак вступить за это...» Такой ход дела поставил меня в страшное раздумье. Мне бы так хотелось поступить в институт, что, выдержав там экзамен, я бы стал умышленно, молчать на экзамене академическом ***, но, во всяком случае, я не решусь избрать окончательно место воспитания без воли вашей, мои милые, дорогие, бесценные папаша и мамаша, которых теперь больше, чем когда-нибудь, люблю. Умоляю Вас, решите мое недоумение, выведите меня поскорее — если можно, ныне **** — из того мучительного состояния, в котором я нахожусь теперь... Пока еще можно воротиться мне, а между тем, кроме других выгод, у меня останутся (защитимы) 35 целковых, которые, право, жалко отдать за неуклюжую шляпу и не совсем тонкий сюртук академический *****. Весь нынешний день я в таком волнении, что, как видите, даже бумагу взял верх ногами, начиная писать вам.

Когда улеглось волнение, в котором Николай Александрович отдал на решение отца и матери вопрос, держать ли ему экзамен в Педагогический институт, он увидел, что в тревоге мыслей не рассчитал, может ли ответ быть получен им своевременно. По тогдашнему ходу почты, ответ на письмо, отправленное из Петербурга

* Курсивом в скобках отлечены от текста наши пояснительные вставки. Когда курсив, то есть соответствующее курсиву подчеркивание слов, встречается в письмах Николая Александровича, мы делаем оговорку об этом в примечании.

** Документы Николая Александровича находились у академического начальства, которому были представлены при подаче просьбы о допущении к экзамену в академию.

*** Молчать на экзамене, чтобы оказаться не выдержавшим его, но, все-таки, держать экзамен, — вероятно, для того, чтоб отец имел оправдание перед друзьями, мог сказать ему: мой сын поступил в институт лишь потому, что не выдержал экзамена в академии.

**** То есть отвечайте мне в тот же день, как получите это письмо, если будет можно отвечать в тот день, если это будет почтовый день. Почта из Нижнего в Москву ходила тогда только три, даже только два раза в неделю.

***** Те воспитанники семинарий, которые присягали в академию не на казенный, а на свой счет, должны были, при поступлении в нее, вносить деньги за выдаваемую им одежду академической формы. Принимаемые в Педагогический институт все получали обмундировку бесплатно.

в Нижний 10 августа, не мог быть получен в Петербурге ранее 19 августа, а вероятнее было, что оборот почты займет двумя днями больше этого кратчайшего, возможного срока, и ответ придет только 21 августа. А начало последнего круга приемных экзаменов в институте было назначено 17 августа. Дожидаться ответа значило пропустить возможность поступления в институт. Оказывалось необходимым держать экзамен в институте, не дожидаясь ответа отца и матери, или отказаться от поступления в институт.

Педагогический институт считался учреждением, одинаковым с университетами. Преподавание в нем считалось университетским. Многие — и, притом, принадлежавшие к наилучшим — профессора Петербургского университета были, с тем вместе, профессорами Педагогического института. Студенты Петербургского университета считали студентов института равными себе.

Поступить в Педагогический институт значило, по мнению Николая Александровича, то же самое, что поступить в университет. И отец не согласился на это его желание только потому, что не имел денег на содержание его в университете. Теперь ему представлялся случай поступить на казенное содержание в учреждение, равное университету. Он не мог пропустить этого случая.

Он сходил в институт за разрешением держать экзамен, а 17 числа пошел держать экзамен в институт.

Начало экзамена в духовную академию было назначено в тот же самый день, 17 августа. Держа экзамен в институте, нельзя было держать экзамен в академии.

Николай Александрович выдержал все экзамены в институте. Они кончились 20 августа, и 21 августа, утром, он был объявлен принятым в студенты института.

И только вечером в этот день, когда дело было уж кончено, пришло, как и следовало тому быть по обыкновенному ходу оборота почты, письмо отца и матери, бывшее ответом на вопрос, начинать ли дело.

Это письмо не сохранилось. Но по последующей переписке видно, в чем состоял ответ отца и матери. Он был такой, каким неизбежно следовало ему быть по тем мыслям, которые внушал отцу и матери Николай Александрович, объясняя им мотивы, склонившие его к желанию держать экзамен не в духовную академию, а в Педагогический институт.

Отец и мать не могли сомневаться в том, что его трусость напрасная. Пусть отец мог считать себя некомпетентным судьей подготовленности сына к академическому экзамену. Но разве стали бы ручаться семинарское начальство и архиерей, если бы не имели полной уверенности, что воспитанник их семинарии, за которого они ручаются, выдержит экзамен прекрасно?

Он поддался трусости, совершенно неосновательной, это было ясно отцу и матери. Он осрамит себя, их, семинарское начальство, архиерея, если они не выведут его из ошибки, которой он под-

дался. Он сам подсказал им ответ, который они должны дать ему. Содержание их ответа видно с полною ясностью по ссылке на него в одном из тех писем Николая Александровича, которые будут цитированы дальше:

Вы писали, что если я не поступаю в академию, то осрамлю и себя, и вас, и семинарию, что вы не думали, чтоб я был так легковверен и проч. и проч.

Иного ответа и не могло быть от рассудительных людей, при той мотивировке, какую дал Николай Александрович своей просьбе о дозволении ему держать экзамен в Педагогический институт. Но как сложилась в его мыслях такая мотивировка?

Мог ли он не сознавать, что хорошо подготовлен к академическому экзамену, выдержит его прекрасно? Он был скромнен в мнениях о себе. Но все-таки не мог не знать, что его сведения очень много превышают размер требований академического экзамена. Или он имел трусливый характер? Напротив, он был один из тех немногих людей, которые неспособны испытывать робости. С чего ж ему вздумалось предполагать, что он не выдержит академического экзамена? Это было приятное ему самообольщение. Прежде оно служило ему, как мы видели, отрадой от мысли, что ему приходится ехать в духовную академию, а не в университет. Что ж, быть может, он не выдержит экзамена в академии — вот и будет прекрасно! Правда, это будет стыд; но что за важность! Он избавится от поступления в академию. Теперь ему представлялась еще гораздо большая надобность успокоивать себя мыслью, что он не выдержал бы академического экзамена. Ему хотелось оправдать перед собой то свое «преступление», что, выпросив у отца и матери позволение ехать в духовную академию, он, по приезде в Петербург, захотел держать экзамен не в академии, а в другое учебное заведение.

В данном случае мучение души мнимого преступника может казаться смешным. Но впоследствии времени бывали у Николая Александровича такие же напрасные и гораздо более тяжелые мучения совести по поводу фактов более важных, чем вопрос о том, в академию ли поступить, или в Педагогический институт. По достоинству преподавания, по полезности преподаваемого не было разницы между академиею и филологическим факультетом института, на который поступил Николай Александрович. Большая разница была в жалованье, получаемом на должностях, даваемых воспитанникам института и академии непосредственно по окончании курса: хорошо кончившие курс в академии были назначаемы учителями семинарий; жалованье учителю семинарии было 900 р. асс.; хорошо кончившие курс в Педагогическом институте были назначаемы старшими учителями гимназий; жалованье старшему учителю гимназии 400 р. сер., то есть 1400 р. асс., в полтора раза больше семинарского. Но не об этой разнице, действительно важной, думал тогда Николай Александрович, а лишь о том, что ин-

ститутское преподавание лучше академического. Это было незнание. Вскоре по поступлении в институт Николай Александрович увидел, что он — та же самая семинария.

Отец и мать были совершенно правы, отвечая упреками на просьбу сына о дозволении ему уклониться от академического экзамена, как слишком трудного для него. Но не были ль упреки высказаны сурово? Мать не могла говорить сыну суровым тоном, — такой у ней был характер, такая нежность была в ее любви к сыну. И если б отец написал резко, то несомненно уступил бы ее просьбе изорвать суровое письмо, заменить резкие выражения мягкими. Но нельзя думать, чтоб отец, при всем своем огорчении, захотел написать сыну сурово; такое предположение опровергается характером всех писем Александра Ивановича к Николаю Александровичу, какие сохранились. Свои советы сыну он излагает в самых деликатных выражениях, без малейшего доктринерства; свои несогласия с намерениями сына он высказывает не иначе, как обставляя их оговорками: а, впрочем, поступай, как сам рассудишь; нам издали мудрено судить; тебе самому виднее, как будет лучше.

Чтение переписки Александра Ивановича с сыном отнимает всякую возможность сомневаться, что упреки его Николаю Александровичу за робость перед академическим экзаменом были высказаны со всею деликатностью, какая была совместна с обязанностью родителей предостеречь сына от поступка, представлявшегося им, по его же собственному письму, легкомысленною, постыдною робостью.

Он не принял в расчет, какую дурную мотивировку дало его намерению поступить в Педагогический институт смущение, навеянное на его душу мыслью, что он очень огорчит отца и мать этим своим желанием. Потому, получив их ответ, он придал их упрекам вовсе не то значение, какое имели слова их.

Отец и мать были огорчены тем, что сын струсил академического экзамена; он понял их огорчение в том смысле, что они осуждают его за предпочтение, отдаваемое им институтскому курсу над академическим, что поэтому известие о его поступлении в институт повергнет их в глубокую печаль; ему даже казалось, что им трудно будет простить такое ужасное нарушение их воли, требовавшей от него поступления в академию.

Вот письмо, которым он отвечал на их решение вопроса о выборе между институтом и академией:

1853, августа 23. С.-Пбург.

Простите меня, мои милые, родные мои, папаша и мамаша, которых так много люблю и почитаю в глубине души моей!... Простите моему легкомыслию и неопытности! Я не устоял в своем последнем намерении (ждать их решения), и письмо ваше пришло слишком поздно — к вечеру того дня, в который поутру объявлен я студентом главного Педагогического института. Не оправдал я надежд и ожиданий ваших и — горе непослушному сыну!... Тоска,

какой никогда не бывало, надрывает меня эти два дня, и только богу известно, сколько слез, сколько мук бесплодного раскаяния стоило мне последнее письмо ваше! Как в горячке метался я оба дня, дожидаясь почты, и если б можно, сам полетел бы к вам, чтоб у ног ваших вымолить прощение. Не стану теперь оправдываться, не стану ничего рассказывать вам, потому что я слишком возмущен*; но с полным сознанием своей вины прибегаю к вам с мольбой о прощении и благословении... Оно только может возратить мне потерянное спокойствие, которого нигде я не нахожу теперь. Как ни хорош Педагогический институт и как ни хорошо принят я в нем, но я лучше бы желал быть последним в академии, — именно потому только, что вы мне одобряете... Не считайте ж меня ослушником, непокорным сыном... Клянусь, если б я знал, что вы так сильно вооружитесь против института, не поступил бы я туда ни за какие блага в мире. Всеми преимуществами, всею будущностью своею пожертвовал бы я, чтобы только исполнить волю вашу, волю любящих родителей, которых счастье для меня дороже моего, которого я еще не понимаю. Но я ошибся, я обманулся, и жестоко наказываюсь за опрометчивость! Горе мне, несчастному своевольнику, без благословения родителей! Я чувствую, что не найду счастья с одною своею неопытностью и глупостью...

Неужели же оставите вы меня, столь много любившие меня, так много желавшие мне всего доброго? Неужели по произволу** пустите вы меня за мою вину перед вами? Простите — умоляю вас. Простите и требуйте чего хотите, чтоб испытать мое послушание. Скажите слово — и я уволюсь тот же час из института, ворочусь в семинарию и потом пойду, куда вы хотите, хоть в казанскую академию. Лучше вытерпеть все пытки горького унижения и пошлых насмешек, лучше испытать все муки раздраженного самолюбия, разбитых надежд и несбывшихся мечтаний, чем нести на себе тяжесть гнева родительского. Я вполне испытал это в последние дни после получения вашего письма. Избавьте же меня от этого состояния, простите, простите меня. Я знаю, вы меня любите... Не смею подписаться тем, чем недавно я сделался***, чтобы не раздражать вас... Но все еще надеюсь, что вы позволите мне назваться сыном вашим.

Н. Добролюбов.

С следующей почтой, поуспокоившись, я буду обстоятельно писать к вам. Но горько смущает меня, тяжело налегает на сердце страшная мысль, как будет принято это письмо мое. Еще раз — ради господ бога, ради всего святого и дорогого для вас — простите моей неопытности, не лишите меня вашей любви и благословения, без которых нет в мире счастья, не оставьте ваших советов, без которых я пропаду здесь. Ради бога, ради Христа — умоляю любовь вашу. Иначе — я не знаю, что будет со мною...

Он хотел написать отцу и матери «более обстоятельно», когда «поуспокоится», и надеялся, что успокоится к времени следующей почты; но вместо одной почты прошло пять, вместо двух или трех дней две недели, а он все еще оставался неспособным привести в порядок свои мысли, совершенно расстроенные порицанием, полученным от отца и матери, все еще не мог собраться с духом, чтобы написать обещанное «обстоятельное» объяснение своего ужасного преступления.

Но оказалось, что отцу и матери не нужно было никаких обстоятельных разъяснений, чтобы найти преступление сына извинительным, потому что никакого преступления в его предпочтении

* Возмущен печалью или раскаянием.

** На произвол мой, на волю судьбы.

*** Семинаристы, поступавшие в какое-нибудь высшее учебное заведение, имели обычай в первое время по поступлении подписываться «студент» такого-то учреждения.

институту перед академией они и не воображали находить. Он поступил в Педагогический институт — им было совершенно достаточно узнать это, чтоб огорчение их прошло.

В чем состояло оно? В том, что он струсил академического экзамена. К этому экзамену он был превосходно подготовлен, казалось всем: отцу, семинарскому начальству, архиерею (близко знавшему его лично) — и вот, он думает, что не выдержит экзамена в академию. Как же можно было отцу и матери надеяться, что он выдержит экзамен в институт? Они знали: там требуется подготовка по программе гимназического курса, большая часть которого не входит в состав семинарского. По общему и совершенно справедливому мнению воспитанников и преподавателей семинарий, экзамен в Педагогический институт был бы для семинариста гораздо труднее академического. Уверения сына, что институтский экзамен обращен в пустую формальность, не могли не возбуждать в людях, более знающих жизнь, чем он, грустных мыслей о его неопытности. Институтский экзамен, как бы ни была велика снисходительность экзаменуемых и наблюдающих за экзаменуемыми, все-таки должен был оставаться для семинариста труднее академического. Что ж будет, если их сын, не надеющийся выдержать экзамена в академии, пойдет держать экзамен в институт? — должны были думать отец и мать.

Опасения оказались напрасны: сын не осрамился, как заставлял ожидать, а выдержал экзамен в институт.

Отец и мать написали ему, что вовсе не сердятся, напротив — радуются.

Письмо их не сохранилось. Но содержание его само собой понятно из того, что прежде они вовсе не порицали желания сына поступить в университет, а только не имели денег на содержание его в университете; ехать в академию, а не в университет, пришлось ему исключительно потому, что воспитанники академии жили на казенном содержании. Теперь он поступил на казенное содержание в высшее учебное заведение, считающееся одинаковым с университетом, дающее кончающим в нем курс должности лучше даваемых духовными академиями, — какую ж причину имели отец и мать быть недовольными? Напротив, им было приятно, что сын поступил в учебное заведение, которое нравится ему более, чем академия, и лучше академии обеспечивает кончающих курс. Они были рады.

Увидев это, он удивился, был в восторге и написал им письмо не на одном, как обыкновенно, а на нескольких листах. Вот начало этого письма:

1853, Сентября 6. Петерб.

Так вы на меня не сердитесь, так вы благословили меня! И даже ни одного упрека за своеволие. Как я теперь весел, спокоен и счастлив, этого невозможно высказать... Теперь я буду писать вам, милые папаша и мамаша, много, много, все буду писать вам. Вот, если хотите, с начала история. Когда

сказали мне, что можно поступить в Педагогический институт, я не мог не впасть в сильное раздумье. Я соображал и припоминал, я молился, и после долгого, мучительного размышления — только с самим собой и ни с кем больше — решился я на этот важный шаг, определяющий судьбу моей будущности. Я припомнил, что и вы говорили мне о поступлении в институт при неудаче в академии, или даже после ученья в академии, я соображал и советы и отзывы некоторых знакомых, вошел в свои собственные наклонности, и после всего этого приступил к делу. Отправивши письмо к вам, я не рассчитывал, что ответ придет очень поздно, и потому писал, что без вашего согласия не решусь ни на что. Но потом увидел я, что если до этого ни на что не решаться, то ничего и не сделаешь. Поэтому вечером 12 числа отправился я к инспектору института, Александру Никитичу Тихомандритскому, спросил его, можно ли держать экзамен без документов моих, которые представлю после, объяснил обстоятельно все дело и получил позволение явиться на экзамен 17 числа. В этот же самый день был назначен первый экзамен в академии. (Поэтому я вечером 16-го писал Журавскому* записку, что зубная боль препятствует мне быть на экзамене. Он тотчас пришел осведомиться, потому что квартира моя была почти возле академии. Я лег и очень болезненно отвечал ему, что к несчастью и проч.) На другой день пошел я в институт вместе с сыном вятского ректора. Пришедши туда, я, прежде всего, должен был написать сочинение *О моем призвании к педагогическому званию*; и как написать что-нибудь дельное нельзя было на такую пошлую тему, то я и написал тут всякого вздору — и то, что я хорошо учился, и то, что я имею иногда страшную охоту поучить кого-нибудь, и то, что мне 17 лет, и то, что прежде мне самому хочется поучиться у своих знаменитых (*будущих*) наставников. Знаменитый наставник посмотрел сочинение, посмеялся, показал другим и решил, что оно написано очень хорошо. На экзамен (*изустный, после письменного*) я вышел, прежде всего, к Лоренцу. Он прогнал меня по всеобщей истории и заключил: вы отшень хорошо знаете историю. Это меня ободрило, и с веселым духом держал я экзамен по другим предметам; а после экзамена подошел я к инспектору и спросил его: «Александр Никитич, позвольте узнать, могу ли я надеяться поступить в институт? Иначе я могу еще теперь обратиться в академию». Он, вместо ответа, развернул список и, показав мне мои баллы, довольно высокие, сказал: «Помилуйте, а это что же?» Затем, 20 числа, был другой экзамен.

По окончании его инспектор поздравил Добролюбова с поступлением в институт. На другой день, 21 числа, экзаменовавшиеся были позваны в конференцию института.

Позвали нас в конференцию, и директор прочитал: «принимаются такие-то безусловно». Таких нашлось человек 12, меня не было. «Без благословения родителей нет счастья», — подумал я; но директор начал снова: «затем следуют те, которые хотя оказались хорошими, даже очень хорошими по всем предметам, но слабы или в немецком, или во французском языке, и потому» (тут — можете представить — он остановился и закашлял; я задрожал) «могут быть приняты только с условием, что они к первым зимним праздникам окажут свои успехи в этих языках». В этот разряд попала большая часть семинаристов, и я — первый. Таким образом, я был уже принят, когда, пришедши домой, получил ваше письмо, которое в один миг повергло меня в такое отчаяние. Вы, кажется, недовольны слишком сильным (*взволнованным, страстным*) тоном моего письма (от 23 августа, которое приведено выше), в котором я ничего путем не объяснил вам; но я тогда решительно не мог писать иначе: так быстр и так тяжел был этот переход от полного счастья к безнадежной горести. Хорошо еще, если б я мог кому-нибудь сказать мое горе; но вы знаете мой характер. Получил я письмо при товарищах;

* Воспитаннику нижегородской семинарии, отправленному в петербургскую академию на казенный счет и потому немедленно после приседа помещенному жить в академии. Он и Николай Александрович ехали в Петербург вместе.

слезы навернулись у меня на глазах, когда я прочел его, но я только свистнул и очень равнодушно положил его в карман. Зато после я плакал целый вечер. В одну из самых горьких минут написал я вам мое письмо, которым, быть может, даже напугал вас. Простите, но вспомните — ведь, вы писали, что если я не попаду в академию, то осрамлю и себя, и вас, и семинарию, что вы не думали, чтобы я был так легковверен и проч. и проч. Было от чего притти в отчаяние. Я даже не ожидал от вас и теперь такого всепрощения. Но зато я теперь совершенно счастлив.

После этого Николай Александрович рассказывает, что, по его просьбе, обер-прокурор синода сделал распоряжение, чтоб академическое правление выдало ему его документы для представления в институт.

28 числа я получил из академического правления свои документы, представил директору и в тот же день поселился в институте, где и пребываю до сих пор в добром здоровье и совершенном счастии.

Теперь я ответил на большую часть ваших вопросов. Остается еще сказать о том, лучше ли я нахожу для себя институт, чем академию? Вы можете так спрашивать, не выдавши института, и чтобы вполне предполагать превосходство первого, надобно самому присмотреться к обоним. Разумеется, у кого какой вкус. — Другим нравится и духовная академия; но что касается до меня, то вы, конечно, припомните, что я поехал в духовную академию только от крайности. Давнишняя моя мысль и желание было поступить в университет; но когда сказали мне *, что это невозможно, я старался найти хоть какое-нибудь средство освободиться от влияния **, и это средство я нашел в петербургской академии. Но и при этом у меня всегда оставалась мысль не только поступить на статскую службу, но даже учиться в светском заведении. Мысль эта глубоко вкоренилась во мне, и ничуть не была пустою мечтой, как уверял один человек ***. Я уж умел наблюдать за своими склонностями, умел сообразить кое-что и давно понял, что я совсем не склонен и неспособен не только к жизни духовной, но и к науке духовной ****. И припомните, слышали ль вы от меня хоть раз хоть одно слово о преимуществе духовной академии перед университетом? Кажется, никогда. Я покорился судьбе, хвалил академию петербургскую на счет других академий духовных, но никогда не возвышал ее над светскими заведениями... И что же мог я чувствовать, когда, приехавши сюда, вдруг увидел возможность осуществить давнишние мечты, когда я опять нашел то, что считал уже невозвратно потерянным? Я не мог не броситься на эту мысль — поступить в институт, не мог упустить благоприятный случай, тем более, что экзамен институтский был легче академического ***** и что перейти из академии в институт, как вы писали, можно не через год, а только через два *****. Для чего же беспо-

* Когда сказал ему отец.

** В этом месте письма уничтожено несколько слов, вероятно, Александром Ивановичем, без сомнения, из предосторожности (он показывал и читал письма сына знакомым; мог спросить их у него и архиерей). В черкнутые слова были, очевидно, собственные имена; одно из них, несомненно, «Пансий», ректор нижегородской семинарии; к этому имени было прибавлено, по всей вероятности, другое: «Ерема», как называли архиепископа Иеремью.

*** Какой-то знакомый, быть может, тот Леонид Иванович, который, как упоминается в письме Николая Александровича от 6 августа, убеждал его поступить в монахи, когда будет в академии. Поступление в монашество было для студентов духовных академий путем к архиерейству.

**** Не по недостатку религиозности (он был тогда человек верующий), а потому, что формы преподавания в духовных заведениях казались ему очень неудовлетворительным, формы быта духовенства тяжелым, и, что всего важнее, ему хотелось посвятить себя литературе.

***** Это еще отголосок того настроения мыслей, которое давало Николаю Александровичу извечное перед самим собой в намерении держать экзамен в институт. В оном из следующих писем он сам приводит пример трудности институтского экзамена для семинаристов: см. письмо ректора не выдержавшего этого экзамена.

***** Совет поступить в академию и перейти через год в институт был дан отцом, вероятно, в письме, порицавшем намерение сына не поступать в академию. Перейти в институт через год нельзя было потому, что курсы классов («отделений») института были тогда двухлетние, соответственно тому и прием в институт происходил лишь раз в два года (по нечетным годам).

лезно тратить их? Притом, в институтском начальстве, товарищах и проч. я нашел совсем другое, чем в академических.

Он сравнивает то, что видел в академии, с тем, что увидел в институте; показывает, что все в институте лучше академического, и продолжает:

Как же еще не лучше в институте против академии? Именно вы сказали правду — промысл привел меня сюда, и я вижу в этом вознаграждение за то терпение, за ту кротость, с которой я покорился судьбе и перенес отказ ваш или, лучше, решение необходимости касательно поступления в университет. А ведь, в самом деле, припомните: вы, папаша, несколько раз спрашивали, видя меня за историей, за словесностью, за математикой: «Да что ты все этим занимаешься? Разве это там важно, разве это там требуют?» Под «там» вы разумели академию; а я почему-то готовился с этих именно предметов, совсем не имея ее в виду, и вот это мне пригодилось. Да и то сказать: меня в академии постоянно убивала бы мысль, что я поступил туда не сам собой, а по разным протекциям — преосвященного Волкова, графа Толстого, который просил за меня Макария, как мне здесь сказали. Между тем, здесь я поступил именно сам собою, а не по чужой милости, или, лучше, по одной милости божией, которую постараюсь заслуживать всегда, сколько можно слабому человеку. По некоторым вашим отзывам обо мне и о моем характере, я думаю, что вы достаточно знаете меня и потому поймете, что последнее обстоятельство для меня тоже не последней важности.

Вы еще спрашиваете меня, все ли у меня цело, есть ли деньги? Да куда же я дену 35-то целковых? Ведь, я не вносил их в академию. Вещи все также в совершенной сохранности. Прощайте. Сын Ваш С.Г.П.И. (*Студент Главного педагогического института*) Н. Добролюбов.

Первое из сохранившихся писем отца и матери Н. А. Добролюбова было писано к нему 27 сентября, отправлено 28, получено Николаем Александровичем 5 октября, то есть на восьмой день по отправлении (почта в те времена очень часто запаздывала). Письмо матери служит, между прочим, ответом на (не сохранившееся) письмо сына, заключавшее в себе поздравление ее с днем рождения. Лист начинается письмом отца, состоящим лишь из немногих строк. Отец говорит, что посылается при этом письме «еще десять рублей», и прибавляет: «Я уверен, что ты не употребишь оные деньги безрассудно. А в необходимом и даже полезном не отказывай себе ни в чем. Чаю покупай себе лучшего».

После отца пишет мать:

Я вчера писала тебе, милый Николенька, и была очень утешена полученным от тебя письмом. Никак не ожидая, чтобы ты, при всех своих занятиях мог вспомнить день моего рождения, я была спокойна, как давно не бывала; но каково ж мое удивление: к вечеру наш добрый Михаил Алексеевич принес твое письмо, так неожиданно полученное, которое еще больше меня обрадовало потому, что я не ожидала.

Она благодарит сына за то, что он вспомнил о дне ее рождения, и продолжает:

Мы к тебе не скоро отвечали, — вероятно, на письмо от 6 сентября, — потому, что писал к тебе Михаил Алексеевич, так чтобы не затруднять тебя излишней пересылкой. Мы рассчитали, что у тебя за покупкой книг останется немного денег, потому посылаем их тебе.

Мать просит его беречь здоровье, не отказывать себе ни в чем надобном, и продолжает:

«Отец писал так коротко» потому, что спешил к обедне; он просил ее отвечать на заключавшиеся в письме сына, от 6 сентября, вопросы о том, какие из вещей, ставших ненужными ему, по поступлении в институт, следует ему продать. Она выражает согласие на то, чтоб он продал все перечисленные им вещи, кроме чемодана:

Чемодан, если можно, то оставь при себе: он тебе понадобится, когда поедешь к нам в гости; а я надеюсь, что это будет, дождусь тебя к себе, чтобы на тебя полюбоваться в твоём мундире.

Она возвращается к тому, что очень обрадована полученным вчера письмом сына.

Будь здоров, спокоен и счастлив. Тысячу раз благодарю тебя за письмо твое. Оно меня очень радует. Но только папаша велел мне написать, чтоб ты не тратил время дорогое, которого так мало дают тебе *, на ненужные письма. Но к нам, прошу тебя писать хоть понемногу. Прощай, мой милый, мой дорогой Николенька, как ты сам назвал себя в письме. Мне это название очень приятно. Любящая тебя много, очень много мать твоя З. Добролюбова.

В те времена в среднем кругу провинциального общества было принято называть взрослых детей в письмах к ним по имени и отчеству. Александр Иванович обыкновенно и называет так сына. Зинаида Васильевна раза два поддавалась этому обычаю. Сын просил ее называть его, попрежнему, Николенькой.

К письму Зинаиды Васильевны сделала приписку младшая сестра ее, Варвара Васильевна:

Благодарю тебя, милый Николенька, за память. Радуюсь, что ты не пошел в кутю. Варвара К.

Варвара Васильевна Колосовская была и сама, как Зинаида Васильевна, жена священника. Но это, как видим, не стесняло ее иметь беспристрастное мнение о «кутье». В одних из своих писем к Николаю Александровичу она объясняет и причину, по которой рада, что он не пошел в кутю: семинаристы и студенты духовных академий имеют неуклюжие манеры и плохо знают приличия; племянник ее теперь отстанет от этих принадлежностей кутейнического воспитания.

Она была бойчее Зинаиды Васильевны в шутках. Но если она делала такую приписку к письму сестры, то не ясно ли, что Зинаида Васильевна разделяла ее мнение о преимуществах светских учебных заведений над духовными? Да и у самой Зинаиды Васильевны высказывается предпочтение института духовной академии в словах, что ей приятно будет видеть сына в институтском мундире (он был одинаковый с университетским).

* Николай Александрович сообщил отцу и матери распределение дня в институте; отец нашел, как видно по письмам Николая Александровича, что при таком распределении дня остается слишком мало времени для серьезных, самостоятельных занятий, к каким привык дома сын.

Прочитав первое из сохранившихся писем отца и матери к Николаю Александровичу, нельзя не увидеть, что деликатность его характера была единственным источником мучительного сомнения в том, одобрят ли отец и мать его предпочтение институтского курса академическому. Он не мог не знать, что мать предпочитает светские учебные заведения духовным; и он превосходно знал, что понятия обо всем на свете одинаковы у отца и матери. После того разговора с отцом, в котором речь была доведена до вопроса, может ли отец содержать его в университете, он не мог не понимать, что прежние рассуждения отца о преимуществах академического воспитания над университетским были только результатом желания отца отклонить его от намерения, неудобноисполнимого по недостатку денег, сберечь его от огорчения раскрытием положения денежных дел семейства.

С того дня, как получено было Николаем Александровичем письмо отца и матери, говорившее, что они и не думали сердиться на него за предпочтение институтского курса академическому, напротив, рады его поступлению в институт, жизнь его шла спокойно до половины марта.

В первые недели по поступлении в институт Николай Александрович восхищался им. Но очень скоро увидел, что и институтские лекции, хотя некоторые из них (именно: лекции Срезневского по славянским наречиям и Н. М. Благовещенского по римской литературе) хороши сами по себе, дают ему, в общей сложности своей, слишком мало знания сравнительно с тем, сколько желает и может он приобретать. Не дальше, как через месяц по началу курса, он уже стал употреблять на занятия, посторонние требованиям институтского курса, все те часы, какие оставлял в распоряжении студентов институтский порядок дня, регулируемый обязательным расписанием от минуты, определенной для пробуждения, до минуты, в которую гасятся лампы с запрещением иметь после того свет для работы.

Отец, прочитав это расписание, сообщенное ему и матери сыном при самом начале курса, заметил, что оно дает слишком мало времени для занятий более серьезных, чем школьная работа, требуемая уставом заведения. Отец вывел из этого, что сын, имевший в семинарские годы гораздо более времени для занятий по своему выбору, не может быть доволен институтским порядком дня, стесняющим свободу занятий, мешающим серьезности их. Сын сначала хотел успокоить отца в этом отношении, но в письме от 27 октября признался, что замечание его справедливо.

Надобно сказать правду, папаша: вы совершенно правы. Времени для занятий здесь мало... — Занятные часы так часто прерываются, что нет возможности втянуться в работу... Только начнешь заниматься, вдуматься, сосредоточишь мысль на одном предмете, — как вдруг звонок — ужинать. — Развлечешься, и опять трудно приняться за прежнее дело. И только вновь соберешься с мыслями — приходит гувернер и желает спокойной ночи,

С сентября до января отец и мать три раза присылали сыну деньги, хотя он постоянно писал, что не нужно присылать их, что у него еще остается много. После третьей присылки он пишет (27 января 1854 г.):

Накануне дня моего рождения, 23 января, получил я письмо ваше, мои добрые папаша и мамаша, и не мог надивиться, для чего приложены при нем эти 10 р. с. Наконец, решил я, что вы просто хотели сделать мне сюрприз ко дню моего рождения, не более. По поводу этих денег я сосчитал, сколько всех денег передали вы мне от августа месяца, и нашел огромную сумму — почти сто рублей. Разумеется, сколько ни присылайте денег, их все можно истратить на предметы очень полезные и даже, пожалуй, нужные. Но если нет денег, так и обойдешься и без них, — а через год, посмотришь, они уж и не нужны ——. Я могу совершенно успокоить вас и, благодаря за присылку, могу сказать, что я, действительно, как вы предполагали, не нуждаюсь в деньгах. Доселе я никому не был должен, даже булочнику, — доселе я никогда не сидел без копейки в кармане, доселе я честнее всех вел свое маленькое хозяйство, т. е. не пробивался на шаромыжку, а всегда имел свой чай, со своим булкой*, свою бумажку, сургуч, ниточку, пуговку и проч. и проч.

Кроме недовольства институтом, у Николая Александровича не было до половины марта никакого тяжелого чувства и не было огорчений, кроме мелких столкновений с назойливою, лицемерною, льстивою и вместе грубою институтскою формалистикой. Письма его за все время имеют обыденное содержание, подобно тому, какое обыкновенно имеют письма любящих сыновей-юношей к родителям. Он рассказывает, как идет его жизнь, чем он занимается, успокаивает опасения отца и матери за его здоровье в дурном петербургском климате, сообщает петербургские новости, какие доходили до института; больше всего места в новостях занимают известия о нашей войне с Турцией и ее союзниками; к слухам о ходе военных действий присоединены некоторые из патристических стихотворений, восхищавших тогда массу петербургской публики.

Отец Николая Александровича был человек не более как семинарского образования, да и то не такого, какое приобретали любознательные семинаристы времен сына, а бывшего в это время уж старомодным с новой семинарской точки зрения. И в слоге Александра Ивановича есть следы старой семинарской витиеватости; но сравнительно с тем, как писало огромное большинство священников его поколения, он писал очень простым слогом, производящим самое выгодное для него впечатление на человека, читавшего много писем священников того поколения, к которому принадлежал он.

А по своему содержанию все его письма от первого слова до последнего показывают в нем человека очень умного и дельного,

* В институте не было тогда чая; кто из студентов хотел пить чай, тот должен был иметь свой. Пища в институте была недостаточная; кто из студентов, имевших мало денег, но все же имевших какие-нибудь деньги, не хотел голодать, принужден был покупать хоть булку к чаю. Все не имеющие денег тоже пили чай с булкой, — с ними делились товарищи. Главным организатором пособий товарищам очень скоро стал Николай Александрович, и когда у других не случалось свободных денег, он давал из своих все надобные рубли, говоря получающему, что это деньги всего товарищеского общества.

доброго, деликатного. Он был чужд всякого педантизма; в его советах сыну нет ни тени резонерства, они просты, дельны. Многословия он не любил, да и некогда ему было писать длинно; слог его сжатый, он писал кратко и дельно. Он не навязывал своих мнений сыну, всегда предоставлял ему поступать по собственному соображению или влечению. В одном только совете он настойчив: «не отнимай у себя времени на то, чтобы писать длинные письма, — говорит он сыну, — не утомляй себя этим, у тебя и без того много дела; не трать времени на письма к людям, к которым не имеешь обязанности или надобности писать; и к нам пиши лишь столько, сколько дозволяют твои занятия; для нас достаточны будут и короткие письма».

Мы видим в письмах Александра Ивановича такого отца, который постоянно думает о том, чтобы не быть в тягость сыну своими желаниями, не стеснять его свободу своими мнениями.

Зинаида Васильевна писала простым разговорным языком. Когда она рассказывала какую-нибудь новость подробно, рассказ ее хорош. Письма ее проникнуты нежною любовью к сыну.

Каждое письмо от него было радостью и для нее, и для Александра Ивановича. Оно читалось сначала ими безмолвно; потом Александр Иванович читал вслух детям и всем, кто был в комнате, если был тут еще кто-нибудь. Когда приходили гости, Александр Иванович вынимал письмо сына и читал им. Антонина Александровна говорит, что таким образом ей приходилось слышать каждое письмо брата раза четыре, раз пять.

Если сыну случалось пропустить ту почту, с которой ждали письма от сына отец и мать, матерью овладевало беспокойство; а если проходило еще несколько дней без письма от сына, начинал тревожиться и отец. Вот как рассказывает сыну (в письме от 1 янв. 1854) Зинаида Васильевна об одном из таких случаев:

У нас, слава богу, все хорошо; только одно нас беспокоит, что так давно ты к нам не пишешь и что здоров ли ты. Неужели тебя так приковали золотые цепи (*милые, драгоценные для тебя цепи науки*), что нет времени написать несколько строк нам? Не только я одна беспокоюсь, но и папаша частенько говорит: что от тебя нет писем? Всё ждали к празднику; но и тут нет, как нет. Раз он шел мимо семинарии и, увидевши у служителя в руках письмо с твоим почерком (*на адресе*), так обрадовался, что, забывши, что оно не к нам, принес домой, но, закусивши, поехал сам к Лаврскому (*товарищу Николаю Александровичу по семинарии, к которому было это письмо*) затем, чтобы прочитать его там; а В. В. (*Валериан Викторович Лаврский*) был так добр ко мне, что на другой день приносил его ко мне читать.

За две недели перед тем, 16 дек., отвечая на тревожные вопросы сына по поводу упоминаний в письме отца и ее о их легких недорозьях, Зинаида Васильевна писала:

Мы очень жалели, что тебя беспокоили нашу болезнь. Это правда, у папаша болела нога — но, слава богу, прошло благополучно. А моя болезнь, ты знаешь, давнишняя. Я не была покойна до тех пор, как получила от тебя письмо; — тут я совершенно успокоилась, и болезнь моя прошла. Теперь я здорова.

Около 24 февраля поехал в Петербург сын Бориса Ефимовича Прутченко, Михаил Борисович²; Александр Иванович и Зинаида Васильевна послали с ним своему сыну письмо и полуимпернал. Но он должен был остановиться на несколько дней в Москве; поэтому это письмо их не могло быть заменю письма, идущего по почте, и они написали 27 февраля сыну письмо, которое отправили по почте. Это было последнее письмо, написанное сыну Зинаидой Васильевной. Приводим его вполне. Оно служит ответом на письмо сына от 18 февраля:

Милый, неоцененный друг мой, Николай Александрович! Я очень рада, что ты здоров и весел и доволен своим поступлением в институт. От души радуюсь, что этим исполнилось всегдашнее твое желание. Жалею и о твоих многотрудных занятиях*. Но да поможет тебе господь. Прошу тебя, береги больше всего свое драгоценное здоровье, оно ничем не может замениться: ни честью (почестями), ни богатством. Мы с удовольствием читали и радовались твоей умеренности (в желании школьных отличий и в школьных занятиях). Да и к чему так много изнурять себя излишним занятием; не всем же можно быть первыми**; а мы очень в тебе уверены, что ты и не при усиленных занятиях будешь не из последних. А всего лучше, когда ты к нам приедешь совершенно здоровым, как обещаешь. Но только не через пять месяцев; это очень долго***. Мы все тебя с нетерпением ожидаем и рассчитываем время твоего отпуска. Я бы желала знать, как ты кончил свое сочинение****, и порадовало ли оно тебя, и как ты проводил масленицу, не видал ли чего интересного для нас и нового. А ты же и обещал написать побольше. Но вот у нас прошла и первая неделя поста, а мы от тебя не получили обещанного письма, и опять начинаю беспокоиться о твоём здоровье*****. Может быть, тебе совершенно и некогда писать нам при твоих трудных занятиях; но что же делать, дружок мой, прошу тебя, хоть понемногу, а пиши, хотя два письма в месяц, для нашего спокойствия. А я в тебе уверена, что ты меня попрежнему любишь. Папаша в церкви, у нас много причастников, в том числе и Михаил Иванович наш. Родные наши все здоровы. Жалею и прошу бога, чтоб и ты был совершенно здоров, весел и успевал во всем хорошо. Остаюсь любящая тебя много, много З. Д.

Николай Александрович получил это письмо 2 марта. После того две недели не было письма от отца и матери. Это не представляло ничего особенного: они обыкновенно писали ему не чаще, чем раз в две недели. Так шло время до 14 марта, вероятно, не возбуждая в Николае Александровиче никаких опасений. — Михаил Борисович Прутченко, оставшийся в Москве, как видно, с лишком две недели, приехал в Петербург и 16 марта от-

* «Жалею и о твоих» — это «и» здесь потому, что слова Зинаиды Васильевны служат ответом на слова сына в письме от 18 февраля: «У вас, мои милые, родные, опять начнутся тяжкие труды (у отца с наступлением великого поста, начавшегося в том году 22 февраля) и (беспокойства) (у матери за здоровье отца, изнуряемого великопостным служением)».

** По его письмам нельзя было догадаться, что в это время хорошие профессора (как, например, Срезневский) уж видели: студента такого даровитого и с такими обширными знаниями еще не бывало в институте.

*** Действительно, в половине февраля, когда писал о «пяти» месяцах Николай Александрович, оставалось только четыре, а теперь уж только три с половиной месяца до начала институтских каникул.

**** Это был разбор степени верности перевода «Энеиды» г. Шершеневича; Николай Александрович слыл стих за стихом всю первую книгу перевода с подлинником.

***** Заметим: письмо сына, на которое она отвечает, было писано 18 февр.; это значит: прошло еще только четыре дня или, много, пять дней по его получении, и она уже снова беспокоится, здоров ли сын.

дал Николаю Александровичу полуимпериял и письмо от 22 февраля, посланные с ним (письмо это не сохранилось). На другой день пришло к Николаю Александровичу письмо, отправленное отцом по почте 13 марта (через пять дней по кончине Зинаиды Васильевны); он начал читать — и прочел слова отца, подготовлявшие его к получению известия о смерти матери. Это письмо Александра Ивановича не сохранилось. Какими выражениями подготовлял он сына к известию о смерти матери, мы можем угадывать по мыслям, возбужденным ими в сыне; очевидно, что были выражения, говорившие, что болезнь матери очень опасна, и, быть может, было прибавлено к этому, что мало остается надежды на ее выздоровление. Чтением этих, по всей вероятности, немногих, простых слов началось в Николае Александровиче то душевное состояние, которое едва мог выдержать организм юноши, в то время еще здорового, сильного. Вот письмо, написанное Николаем Александровичем отцу в тот же день:

1854, 17 марта. Петербург.

Вчера получил я письмо ваше, папаша и мамаша мои, посланное с Михаилом Борисовичем, а ныне получил еще письмо от вас, папаша, от 13 марта. Первые строки обрадовали меня, известивши о новой сестрице... Но далее ужасная весть поразила меня, как нельзя более, и только слабая надежда меня поддерживает... Я все не верю, я не могу подумать, чтобы могло совершиться это ужасное несчастье. Бог знает, как много, как постоянно нужна была для нас милая, нежная, кроткая, любящая мамаша наша, наш благодетельный гений, наш милый друг и хранитель... Боже мой! в прахе и смирении повергаюсь перед твоею святою волею! Едва дерзкие * мысли посетили было мою голову, как вот страшная кара грозит уже мне, видимым образом наказывая самонадеянность надменного ума... Но я смиряюсь, я надеюсь, я верую, господи!.. Помози моему неверию, подкрепи меня, сохрани мне, моим милым добрую нашу хранительницу! Я могу только молиться, я могу обращаться только к богу, с моею глубокою горестью... Но я верю, что сильно это орудие, я твердо верую, господи, что ты слышишь вопль моего сердца, — и не только моего, — ты слышишь молитвы, совершаемые перед алтарем твоим **, слышишь молитвы, произносимые невинными устами чистых младенцев, и ты помилуешь всех нас. — Ты услышишь эти молитвы! Верую, верую, верую, — твердо и крепко с любовью и молитвой!...

Но — боже мой! — отчего я не с вами, папаша?... Отчего не могу видеть и утешить теперь вас, отчего много дней должен я ждать вашего нового известия, которое решит все? Если б я был с вами, если б чудом каким-нибудь мог я перенестись к вам, — о, я вылечил бы мою мамашу, я влил бы бодрость и свежесть в печальную душу вашу, я дал бы крепость и силу ослабевшим членам больной моей милой, неоцененной матери, я пробудил бы в ней новые силы, остановил бы дыхание жизни на устах ее. Ее любовь откликнулась бы на горячий призыв сыновнего сердца.

Но что есть, того не переменяешь... Нужно предаться провидению и ждать... Но если б мог я скорее, скорее получить письмо от вас, — радостную весть о выздоровлении мамаша. Что бы ни было, пишите ко мне, пишите скорее, пишите каждый день, если можно, хоть по две строчки, — если еще не все

* Мысли о том, что он будет радостью и гордостью матери.

** Молитвы его отца, перся, совершающего литургию.

кончено. Пишите вы, Михаил Алексеевич *, пишите чаще, больше, подробнее, не скрывая ничего от меня... Я все приму и перенесу с твердостью, хотя весть может быть ужасна, так ужасна, что ничего ужаснее, кажется, не может быть для меня... Мамашенька, мамашенька!.. Слышите ли вы еще?.. Благодарю вас, успокойте меня, утвердите меня, утвердите во мне веру в провидение, спасите меня и на этом пути...

Я уверен, папаша, что вы ничего не пожалеете, употребите все средства для того, чтобы сохранить драгоценную, слабую жизнь... Я сам с своей стороны, молясь богу, вместе прошу заочно и докторов наших, особенно доброго Егора Егорыча **, который уже давно знает натуру мамы, который и меня спас однажды от смерти... Пусть употребит он все старание и искусство... Благодарный сын отплатит за мать свою.

Сестры и братья мои! не плачьте, не шумите, пожалуйста... Умоляю вас... Может быть, вы не понимаете всей опасности... Покойте, радуйте мамашу, не давайте повода ни к какому потрясению... Нянюшка! побереги их, посмотри за ними!... Ради господа бога! Добрые родные наши, — все, все вы любили меня и всех нас!... Употребите все старания и заботы... Услужите этим всей семье нашей, обяжите нас навеки!... Издали, но близко к вам, умоляю я вас об этом...

Я совершенно здоров, и был бы доволен и спокоен, если бы не тревожила мысль о тяжелой болезни мамашеньки... Боже! помилуй нас!...

Но, папаша, если уж нет надежды, если все кончено, — да подкрепит вас господь!... Да вынесет могучая душа ваша тяжкое горе, покоряясь премудрому промыслу, в котором вы всегда почерпали силу и мужество!... Но уже я сказал, что твердо верую в определение промысла, который молю о спасении мамы!... И если это письмо будет вами получено еще тогда, когда не будет все кончено, — оно послужит вам залогом радостной перемены; оно должно успокоить вас и оправдать надежду мою... Это испытание, посланное от бога... Кто знает, может быть, это устроено для утверждения меня в вере... Ведь, и одна душа много значит у бога!... Мужайтесь же, мужайтесь, мой добрый папаша!... Будем друг другу облегчать тяжкое бремя горести... ***

— — —

Ныне мы говеем, и, через два дня готовясь приступить к страшным таинам христовым, я заочно прошу у вас прощения во всем, в чем когда-нибудь огорчил вас... Прошу прощения и благословения у вас, мамаша, твердо верю, что вы и заочно, и еще не получив этого письма, благословляете меня со всею прежнюю горячую любовью... Выздоровливайте, моя милая мамашенька, дождитесь радостного свидания со мной через какие-нибудь три месяца... Нас ныне отпустят, кажется, ранее обыкновенного... И я твердо верую, что господь милосердный не лишит меня счастья увидеться скоро, скоро с милою, доброю моею мамашенькой...

Прошла неделя, и все еще не было никакого извещения от отца о матери. Николай Александрович написал второе письмо отцу, оставлявшему его в томительной неизвестности. Он все еще хотел надеяться, что мать жива, и в письме своем обращался также к ней.

* Михаил Алексеевич Костров ближайший друг Александра Ивановича и Зинаиды Васильевны, бывал у них едва ли не каждый день.

** Егор Егорыч Эсенкус считался хорошим врачом, как должно думать по нескольким упоминаниям о нем в письмах Николая Александровича. Он был, между прочим, врачом, лечившим преосвященного.

*** Кончая письмо, Николай Александрович припомнил, что должен известить отца об исполнении поручения, данного им в одном из прежних писем; поручение состояло в том, чтобы навести справки о положении дела, которым интересовался отец. Сообщив ему собранные о деле сведения, Николай Александрович, — вероятно, после некоторого перерыва, — прибавил приписку.

25 марта. Петерб.

Не дождавшись вашего письма, пишу к вам, мои милые папашенька и мамашенька. Я много грустил о болезни вашей, мамашенька, но крепкая надежда не покидала меня и в самой грусти. В субботу, 20 числа, приобщился я св. таин и много, много молился я о вашем здоровье, мамашенька, о вашем спокойствии, папаша. После этого стало мне веселее и надежда моя укрепились еще более... Сладостно прозвучали в ушах моих слова воскресного евангелия: все возможно верующему, — и с полною готовностью взывал я ко господу: верую, господи, помози моему неверию. С полною уверенностью теперь пишу я к вам, что мое письмо найдет вас, мамаша, вне опасности. Господь милосердный услышал, верно, сердечные вопли детей, чистые молитвы ваши, папаша, и внял слезным прошениям и обетам любящего сына. Теперь со дня на день буду ждать от вас письма, которое подтвердит мои убеждения и надежды. А в ответе на это письмо я надеюсь найти словечка три, написанные вашею рукою, мамашенька, моя милая, дорогая мамашенька. Ах, если б вы знали, сколько я люблю вас... Но, ведь, вы и сами меня так любите, если еще не больше. Умоляю вас — берегите себя. Пусть доктора употребят все усилия, пусть будут удалены от вас все горести и неприятности, все заботы семейные, пусть нежная любовь окружит постель вашу, и ваше здоровье быстро станет поправляться. Тяжело, я думаю, было вам, мой добрый папаша, вынести тяжкую болезнь, дрожать при виде опасности... Но век без несчастья нельзя прожить, только бы это несчастье не было невозвратимо, невознаградимо... Болезнь пройдет, и воспоминание о ней будет приятно во время совершенного здоровья... Ведь, вам, мамаша, и не в первый раз такая болезнь. Кажется, после родов Васеньки вы тоже были сильно, сильно больны несколько дней. И тот же Егор Егорович Эвениус и г. Линдемани вылечили вас. И теперь они могут сделать это.

Я совершенно здоров и ничего теперь не желаю, кроме радостной вести от вас, о вашем выздоровлении, мамаша.

Но в тот же день, как Николай Александрович написал это письмо, он, отдав его на почту, получил письмо отца, уведомлявшее его, что мать умерла *.

И вот письмо к отцу, второе, написанное им в этот день:

25 марта 1854 г. С.-Петербург.

Добрый мой, милый мой, драгоценный для меня папашенька! Что мне ответить вам на ваше последнее письмо! Велика моя горесть, но прежде всего не могу я не поблагодарить вас за вашу предусмотрительность. Ваша любовь, ваше благоразумие рассчитали верно. В течение недели я привык к тягостной мысли, и нынешняя весть поразила меня уже не так сильно, как я ожидал. Тяжко, тяжело, невыразимо тяжело мне; но я не изнемог под бременем страданий, я сохранил силу рассудка и мысли. Всего более беспокоюсь я о вас, мой милый, несравненный папаша. Вам, верно, было горько присутствовать при последних страданиях нашей милой мамашеньки. Верно, и теперь еще тяжело, горько, грустно вам... Вы пишете, успокоивая меня, что вы предаетесь в волю благого и премудрого промысла... Дай бог вам силу и твердость к перенесению этого бедствия! И что же еще можем мы делать, как не покоряться воле господней, распоряжающейся неисповедимо, но всегда премудро? Наши сетования не могут нам помочь, не могут утешить. Твердая воля способна к перенесению всяких бедствий, и твердость воли, сила духа, показываемая в несчастьях, благоразумие, распорядительность в тяжелых обстоятельствах возвышают человека, показывают истинное его достоинство. Вы, папашенька,

* Это письмо отца также не сохранилось. Оно было от 20 марта, как упоминается в сохранившемся письме Александра Ивановича от 27 марта.

ни в чем не можете упрекнуть себя: вы употребили все, что от вас зависело, для спасения жизни мамаша. Бог не судил так... что же делать: такова его святая воля!... В отношении ко мне тоже вы сделали весьма много при этом. Вы спасли меня от тягостного отчаяния, вы поддержали мои силы, дали мне время оправиться привыкнуть к тягостной мысли, и я не сомневаюсь, что все ваши распоряжения по дому и хозяйству будут также прекрасны и вполне заменят для моих милых сестер и братьев попечения матери *. Наша добрая бабенка ** будет, верно, так добра, что позаботится о них, приложит все свое попечение об их воспитании и образовании... Бедные, бедные мои сестры, милые братья мои! Как бы нужна для вас теперь любовь материнская! Но господь оставил вам милого, несравненного папашу: любите его, радуйте, утешайте, молитесь, чтобы господь бог подкрепил его!... Так много, так много горя!...

Папенька! надейтесь, надейтесь, что еще счастье снова посетит смиренную долю нашу, и в кругу детей, которые будут тем больше любить и утешать вас, вы найдете отраду и забвение о незабвенном... На этих днях читал я Жуковского; он много утешил меня. Вот что нашел я у него:

Лучший друг нам в жизни сей —
Вера в провиденье —
Благ зиждителя закон:
Здесь несчастье — лживый сон,
Счастье — пробуждение.

И мы — будет время — пробудимся от этого несчастья и, осененные благодетельным гением нашей доброй хранительницы-матушки, узнаем радость... Я буду находить утешение, подкрепление в вас и, с своей стороны, буду стараться делать все, от меня зависящее, для спокойствия и радости вашей. Отныне вся моя жизнь, все труды, все старания мои будут посвящены вам, вам одним нераздельно... Мамаше уже теперь ничего не нужно; нужны ей только святые молитвы церкви, и я, надеюсь, что наши молитвы, и особенно ваши, перед престолом божием, при страшной жертве господней, дойдут до всевышнего, и он успокоит земную страдальницу в ангельских селениях. Я не сомневаюсь — ей там лучше, свободнее, веселее. Добрая душа ее найдет там в бесконечной красоте несозданной, в неизреченном блаженстве святых осуществление того, о чем тосковала она в этой бедной жизни... Ее воззвал господь, чтобы наградить за горести, претерпенные ею в мире... И теперь, верно, с небес смотрит она на нас, и будет радоваться, если мы будем достойны того... Об ней нечего жалеть: я томлюсь только беспокойством о вас, мой добрый папаша, жалею о себе, о своем бедном сердце, на которое всегда так сладостно отзывалось сердце матери, и о моих братьях и сестрах. Но в вас есть столько любви, что вы можете разлить ее на все окружающее вас и сделать потерю бесценной матери, по крайней мере, менее ощутительною для нас...

Мне хотелось бы знать о новом устройстве в доме, какое заведено вами; хотелось бы знать определеннее о состоянии моих сестер. Прикажите, папаша, чтоб они писали ко мне... А что бедная, невинная причина нашей горести, Лизанька? *** Что Володя и Ваня? **** На них нужно обратить теперь внимание... Папаша, папашенька, я вполне, вполне надеюсь на вас... Да поможет вам господь милосердый!

Через четыре дня по отправлении этого письма Николай Александрович получил письмо от 24 марта (также не сохранившееся).

* Эти уверения, что не может сомневаться в благоразумии распоряжений отца, служат, без сомнения, ответом на сомнения отца, сумел ли распорядиться устройством возможно хорошей жизни для дочерей и маленьких сыновей.

** Припомним слова Антония Александровича, что мать Александра Ивановича жила с дочерьми далеко от Нижнего и что он по кончине Зинаиды Васильевны просил ее переселиться к нему для забот о его детях и домашнем порядке.

*** Га дочка, после рождения которой мать умерла от простуды.

**** Братья Николая Александровича.

Он начал писать ответ на него в тот же день, но этот день (29 марта) был понедельник. Почта из Москвы в Нижний по вторникам не ходила, отправлялась по средам; письма, посланные из Петербурга в понедельник, пришедши в Москву во вторник, лежали там до среды; потому раньше вторника не для чего было отправлять письмо, и Николай Александрович закончил его и отдал его на почту уже во вторник, 30 числа.

1854 г., 29—30 марта. СПб.

Ныне я хотел непременно писать вам, мой милый, добрый, несравненный папаша. Я знаю, что вы и при своем тяжком горе заботитесь обо мне. Ныне, 29, получил я еще утешительное письмо ваше со вложением листка *Ниж. губ. Вед.*; несколько раз прочитал статью Павл. Иван. * — и не мог удержаться от слез... Я счастлив тем, что жизнь и смерть нашего чистого ангела, нашей неогрешенной мамашеньки, возбуждает во всех, знавших ее, такое участие. После вашего письма от 20 марта, полученного 25 марта, я уже получил несколько известий о нашей горькой потере... — **. Все принимают участие, все стараются утешить меня. Я теперь довольно спокоен, хотя еще не могу надолго оторваться от печальной мысли. Пишу ли, читаю ли, мне все представляется кроткий образ мамыши, встают в памяти воспоминания детства, и при мысли, что все это исчезло безвозвратно, тяжело ноет сердце. Но я стараюсь одолеть себя, и я представляю вашу любовь, папенька, о которой и мамаша так часто писала мне; я воображаю маленьких сестер и братьев, которые теперь так нуждаются в подкреплении, утешении. Думаю, что сам я должен вас утешить и поддержать в вашей скорби, и моя печаль рассеивается и остается только неизбежная тихая грусть... Я усердно молюсь за мамашу и надеюсь, что господь сподобит ей быть в селениях праведных, в неизреченной славе и блаженстве райском. Молитвы церкви восполняют недостатки ее, если какие отыщутся перед единым непогрешимым.

Ваше уведомление о болезни моей мамыши поразило меня не менее, даже, может быть, более, нежели самая весть о смерти ее. Так это было неожиданно, так много противоречило моим надеждам. В борьбе между страхом и надеждой провел я неделю, и когда все решилось, — я сделался как-то туп к печали... Без слез, без мыслей, без воспоминаний, а просто с какою-то тяжестью в сердце часто оставался я по несколько минут. К счастью, нашлись здесь два добрые человека, которые утешили меня.

Это были институтские товарищи Николая Александровича. Особенно ободряли его советы одного из них, говорившего о его обязанности поддерживать отца³. Пересказав их, Николай Александрович продолжает:

Такие советы и убеждения действительно вливали в меня мужество и отвлекали мысль мою от тяжелой потери к вашему положению, папашенька, заставляли думать о живых более, чем о мертвых. Теперь, благодаря бога, я довольно спокоен, подкрепленный вашими письмами, вашим примером, вашими молитвами.

За этим следуют горячие обращения к бабушке, о которой Николай Александрович предполагает, что она присхала жить у

* Этот «Павл. Иван.», поместивший в *Нижегородских Губернских Ведомостях* некролог Зинаиды Васильевны, быть может, протоиерей Павел Иванович Лебедев, назначенный по смерти Александра Ивановича одним из опекунов его детей. Судя по тому, как держал он себя в качестве опекуна, должно думать, что он был человек хороший и рассудительный.

** Тут перечисляются петербургские знакомые Николая Александровича, которые имели знакомых в Нижнем-Новгороде и получили от них известие о смерти Зинаиды Васильевны.

сына, и к Фавсте Васильевне; он умоляет их помогать его отцу в заботах о его сестрах и братьях. В конце письма он просит отца быть спокойным за него:

Обо мне прошу вас не беспокоиться. Я пристроен уже, и мне остается только увенчать своими трудами и успехами ваши бесчисленные заботы и попечения обо мне... Вы пишете, что ждете меня на вакацию: я с радостью поспешу утешить вас и постараюсь заставить вас забыть в объятиях сыновних ваше горе, нашу общую невозвратимую потерю.

Вскоре после отправления этого письма Николай Александрович получил письмо отца от 27 марта; оно первое из сохранившихся писем Александра Ивановича к сыну по кончине Зинаиды Васильевны. Приводим начало его:

Суббота, 27 марта 1854 г.

Вот и 20-й день нашему незабвенному другу! Сейчас с кладбища... Священное безмолвие... Блаженни умирающий о господе... Ей там, право, лучше... Каково-то нам? Особенно мне... Я лишился с ней всех благ.

Но он говорит, что начинает успокаиваться.

Не унывай и не ропщи и ты, милый мой Николай. Прошу тебя, увещеваю, — нет! повелеваю быть равнодушнее. — Ободришь. Успокой меня своим терпением. — Будем молить бога, чтобы он даровал нам здоровье и продлил лета твои и мои — для поддержания и устройства детей.

Я писал тебе от 20 и 24 сего марта. Во всех письмах прошу тебя не предаваться мрачной скорби и сетованию. Позволь же мне надеяться на твою твердость.

Но и через месяц по получении письма, которым отец осторожно подготовлял сына к известию о смерти матери, сын все еще оставался в таком тяжелом настроении души, что впадал среди дня в галлюцинации. Вот что писал он отцу 20 апреля:

Испуганное страшною потерей сердце бьется и трепещет при малейшей неизвестности и беспокойстве. Во всем видит оно грозный призраок нового бедствия. В святую неделю я ждал письма от вас, мой милый, неоцененный, горячо-горячо любимый папашенька. С наступлением нынешней недели беспокойство мое страшно усилилось. Не могу придумать, отчего вы не пишете ко мне. Я посылаю к вам письма 2, 6 и 11 апреля. Не знаю, получили ли вы их. Я писал к вам о некоторых своих успехах, о радостных новостях русских; но, признаюсь, все это не веселит меня. Что все земные радости, что все счастье наше, если не с кем разделить его, некого порадовать своею радостью? Теперь, после горькой утраты нашей милой, нашей родимой, больше нет для меня радости, как ваше счастье, ваше спокойствие и радость, добрый, любимый папаша мой!... Не мне утешать вас бесплодными рассуждениями, не мне говорить вам о терпении и покорности промыслу... Я слишком слаб для этого, я слишком сильно чувствую наше общее горе... Но, папаша, если возможна радость на земле, после столь тяжкого горя, я обещаю вам радость в детях ваших, которые теперь принадлежат вам нераздельно и единственно, всю душой, всю любовью и мыслию. Любите нас, и счастье снова посетит нашу смиренную, опустевшую обитель... Горько буду плакать я через полтора или два месяца, приехавши домой, но надеюсь найти отраду в вашей отеческой любви... Но до тех пор мне хочется знать подробности последних дней мамаша... Впрочем, зачем это?... Ваше сердце разорвется от страшного воспоминания. Нет, не пишите мне этого, а скажите только, как вы устроились ныне, как встретили праздник; все ли так хорошо, как бывало прежде?... Господи,

дай мне забвение прошлых печалей и радостей! Дай позабыть незабвенное. Дай хоть на час успокоиться! Вдали от родного, приветного слова, без ваших отрадных писем, я невольно поддаюсь мучительному объятию тоски. Страшная потеря растет передо мною и принимает все более и более гигантские размеры. За что я ни возьмусь — ничто не занимает и не развлекает меня. Достаточно одной черты, одного незначительного слова, одного легкого намека, чтобы перенести меня в прежнее, невозвратно-минувшее, счастливое прошлое, представить тоскливому воображению кроткий образ бедной матери... О, папаша! Простите, простите меня, что я так безжалостно раздражаю вашу душу... Я сам не понимаю, что со мной делается... 16 апреля я был у обедни в здешней Благовещенской церкви. Жарко молился я о душе милой мамашы нашей, и пение «Пасхи господней» как-то отраднo было для меня. Только это не всегда так на меня действует... Двенадцать раз в день, утром и вечером, перед обедом и ужином слышу я: «Христос воскрес из мертвых», но часто эта святая песнь кажется мне горькою, жестоко насмешкой над моим положением... И при этом я страшусь за вас, папашечка!... Здоровы ли вы, спокойны ли, утешают ли вас дети ваши? Каковы оказываются наши родные? Хорошо ли обходится с детьми и с хозяйством наша нянюшка? Верно, многое вас расстраивает... Что делать, мой милый, великодушный папаша... Нужно ждать и надеяться, что все это устроится со временем. Вдруг всего же нельзя сделать... Ниночка не заменит мамашу с первого раза даже и в хозяйстве*... Но, верно, она попривыкнет и будет распорядиться лучше. Вокруг меня все такие веселые лица. Некоторые ездили на святую домой, например, в Тверь, Москву... Все радуются весне, хорошей погоде, скорому окончанию лекций, успехам русского оружия.

Николай Александрович передает отцу слухи с театра войны и продолжает:

В общих, огромных событиях отчества как-то невольно поддаешься патристическому чувству и откликаешься на общую радость. Но свое горе, все-таки, близко к сердцу и тяжелым камнем давит его. Вы это знаете, мой добрый папаша, и я напрасно тревожу вас; но, право, сам не знаю, что так мучит меня, именно потому, что нет писем ни от вас, ни от других родных и знакомых. Порой находит на меня какое-то забытие: я наяву дремлю, и мне все представляется в каких-то туманных, неясственных образах; тогда я спрашиваю себя, не есть все это тяжкий сон, не мечта ли разгоряченного воображения?... Но все мысли так ясны, воспоминания имеют такую обстоятельность, подробность и светлость, какой не бывает в сновидениях. Горькая действительность предстает во всей ужасной своей истине.

А, между тем, с 1 мая начнутся экзамены... Нужна вся энергия, вся сосредоточенность мыслей и памяти. Едва ли я могу сдать экзамены совершенно удачно. Помолитесь обо мне, папашенька. Вы так добры и чисты, что господь услышит молитву вашу. Вчера, впрочем, отвечал я двум профессорам на репетициях; ничего, обошлось как следует. Ныне профессор (Лебедев)⁴ разбирал в классе мое сочинение, о котором спрашивала меня еще моя милая, обожаемая мамаша; разбор свой он закончил тем, что мой труд отлично хороший, во всех отношениях, образцовый труд... О, как бы порадовалась мамашенька, если бы могла узнать это при своей жизни!... Порадуйтесь же вы за нее, мой нежно любимый папаша!...

Прошел еще месяц, и душевное состояние Николая Александровича оставалось все такое же; галлюцинации продолжались. Он писал 24 мая отцу:

Вчера, мой милый папашенька, получил я записочку Ниночки и при ней письмоцо Михаила Алексеевича. Из него узнал я, что вы здоровы и очень

* По смерти матери, хозяйкой в доме пришлось быть, как мы видели, Антонине Александровне, которой было только еще тринадцать лет.

заняты в настоящее время, и пожелал вам счастливо и легко кончить труды свои. Узнал я также, что у нас был 18 ч. Оранский образ пресвятой владычицы, перед которой, верно, помолились вы о душе нашей милой, незабвенной мамаша, — не забыли, верно, помолиться и о тоскующем на чужбине сыне вашем. Не понимаю сам, что со мною делается: чем лучше идет все, лично до меня касающееся по институту, тем сильнее грущу я о потере мамаша. Вот уже кончились три экзамена, о которых я писал вам, из тех самых предметов и в те самые сроки. Из всех предметов получил по 5.

Он передает отцу подробности экзаменов; слова его очень скромны; но все-таки ясно, что институтское начальство выставило его, в славу институту, на показ посетившему экзамены министру народного просвещения. Скромными выражениями рассказав, что до сих пор все экзамены идут у него «как следует», он возвращается к той давно опровергнутой отцом и матерью, но все-таки, как видим, не покидавшей его мысли, что глубоко опечалил их своим поступлением в институт, и выводит из нее такое заключение, которое находится в явной несообразности с хорошо известною ему причиной смерти матери (припомним, что мать умерла от простуды); он с самого получения известия о смерти ее сделал вывод, который не мог бы притти в голову никому, кроме такого человека, как он, и увеличивал свое душевное страдание размышлениями об ужасном последствии его самовольства:

Теперь уже я не словами, а делом надеюсь оправдаться перед вами в своем, несколько произвольном, поступке. Говорю «несколько» потому, что знаю, — вы никогда не имели предубеждения против светских заведений, и единственно материальные средства были причиной того, что я не отправился в казанский университет... Одно только страшно терзает меня по временам, это — мысль, что мое своевольное поступление в институт и сопровождавшие его обстоятельства имели, может быть, слишком гибельное влияние на расстроенное и без того здоровье моей мамаша, особенно в тогдашнем ее положении, и приблизили ее ко гробу. Как я ни гоню от себя эту мысль, но она довольно часто приходит мне в голову и шепчет мне, что я невольный убийца своей матери... Тяжко, неизъяснимо тяжело становится на душе, когда посещает меня эта безотрадная, отчаянная мысль, и тем больше тяготит она меня, что поправить дело уже невозможно... Я не оправдаюсь перед матерью, не представлю ей своих успехов, не скажу, что я имел право так поступить, как поступил, потому что надеялся вознаградить ее за все лишения и горести, которые она потерпела от меня, после разлуки со мной... Не успел я ее порадовать, не услышит она отчаянного, безнадежного сыновнего вопля, не увидит горьких слез, не ответит на радостный призыв и не встретит ее кроткого взора, полного беспредельной любви, светлый, полный гордого сознания своих сил и исполненного долга — взгляд ее сына. И что бы смерти подождать эти три месяца!.. Какого полного, невозмутимого счастья дождались бы и я, и моя мамаша, и все, нас окружающие... Теперь в вашей любви, в вашем сердце, папаша, буду искать я моего счастья. Все эти успехи, эти чужие похвалы, сказанные с видом покровительства, на которое не имеют права, или с искусною скрытою завистью; эти знания, питающие ум, а не сердце, — все это, право, чистый вздор и не может доставить счастья... Хорошо еще, что я имею такого отца, как вы, мой милый, несравненный папаша... О, я очень, очень люблю вас и любил и буду любить всегда; только мне как-то совестно говорить вам об этом. Мне кажется, что это естественно, что иначе и не может быть.

Через три недели после этого он поехал к отцу и через полтора месяца по приезде похоронил отца.

О том, какое влияние на всю его жизнь имела смерть матери и отца, Михаил Алексеевич Костров в своих воспоминаниях говорит:

Кто-то (анонимный автор одного из некрологов Добролюбова) сказал, что покойный Николай Александрович был всегда слабого сложения. Решительно сказать этого нельзя, хотя и точно он был золотушного сложения. — Конечно, усиленные занятия в семинарии, а отчасти и (раньше того) в училище, и по поступлении в институт могли иметь не очень благоприятное влияние на его здоровье; но останься в живых его отец и мать, все обошлось бы для него недурно, и он жив был бы и, — относительно говоря, — здравствовал бы доселе. Решительное влияние на расстройство его здоровья произвела смерть его матери, а потом и отца. — Смерть родителей и особенно, кажется, матери, подле которой он до 17 лет находился неотлучно, для которой он был любимым сыном, и не только сыном, но и лучшим другом, потому что отец, по службе своей, чаще всего отсутствовал, и которую и сам он любил, как другому и не удастся любить, была таким ударом для него, от которого он не опомнился до смерти своей. «На что мне и жизнь-то теперь, — то есть без матери, — говорил он нам при последнем нашем свидании (в августе 1861 г., за три месяца перед смертью), — разве только для братьев и сестер; ну, для них-то я еще лет пять, шесть проживу...»

А за три месяца до последнего свидания с родными, он, 16 мая 1861 года, писал из Неаполя Антонине Александровне:

Говоря по правде, со времени маменькиной смерти до сих пор я и не видал радостных дней.